

РИЧАРД  
ДОКИНЗ

ОГАРОК  
ВОТЪМЕ

МОЯ ЖИЗНЬ

В НАУКЕ

SCIENCE IN

MY LIFE

IN THE DARK

BRIEF CANDLE

DAWKINS

RICHARD



Ричард Докинз

**Огарок во тьме.  
Моя жизнь в науке**

«Издательство АСТ»

2015

УДК 57:929  
ББК 28.0

**Докинз Р.**

Огарок во тьме. Моя жизнь в науке / Р. Докинз — «Издательство АСТ», 2015

ISBN 978-5-17-145654-2

Эта книга — вторая часть автобиографии биолога, мыслителя и популяризатора науки Ричарда Докинза. В ней рассказывается о профессиональном пути Докинза как уже состоявшегося ученого, описываются его встречи с крупнейшими исследователями и работа над прославившими его научными трудами, а также показана эволюция его взглядов на взаимодействие науки, культуры и религии. Заметная часть книги посвящена тому, как Докинз пришел к своим самым известным идеям, таким как понятия мема и расширенного фенотипа. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 57:929

ББК 28.0

ISBN 978-5-17-145654-2

© Докинз Р., 2015  
© Издательство АСТ, 2015

## Содержание

Память на пиру	7
Доны и их закидоны	10
Новобранцы	12
Заместитель смотрителя	20
Легенды джунглей	26
Конец ознакомительного фрагмента.	31

# Ричард Докинз

## Огарок во тьме. Моя жизнь в науке

*Посвящается Лалле*

*Конец, конец, огарок догорел!  
Жизнь – только тень, она – актер на сцене.  
Сыграл свой час, побегал, пошумел —  
И был таков.*

*Уильям Шекспир.  
“Макбет”. Акт V, сцена 5.  
Пер. Б. Пастернака*

*Наука – как свеча во тьме.  
Карл Саган.  
Подзаголовок книги “Мир, полный демонов”, 1995*

*Лучше зажечь свечу, чем проклинать тьму.  
Неизвестный автор*

RICHARD DAWKINS  
BRIEF CANDLE IN THE DARK  
MY LIFE IN SCIENCE



*Перевод с английского Анны Петровой*

© Richard Dawkins, 2015  
© Murdo Macleod/Polaris/East, фотография на обложке



© А. Петрова, перевод на русский язык, 2023  
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2023  
© ООО “Издательство АСТ”, 2023

Издательство CORPUS ®



## Память на пиру

Что я делаю здесь, в столовой нового колледжа<sup>1</sup>, готовясь прочесть вслух собственное стихотворение сотне гостей на торжественном ужине? Как я попал сюда? По субъективным ощущениям мне двадцать пять лет, а объективно я, к своему удивлению, праздную семидесятый оборот вокруг Солнца. Я оглядываю длинный стол, озаренный свечами, уставленный серебром и хрустальными бокалами, улавливаю вспышки блистательного остроумия и искрящихся фраз, а заодно ловлю и обрывки воспоминаний, стремительно пролетающих перед умственным взором.

Возвращаюсь в детство, в колониальную Африку: кругом – большие ленивые бабочки, острый вкус листьев настурции, украденных из незабвенного сада в Лилонгве, вкус манго, чью неопишемую сладость перебивает пряный аромат скипидара и серы; школа-пансион в благоухающих хвоей горах Вумба в Зимбабве. Затем – “домой”, в Англию, под устремленные в небеса шпили Солсбери и Аундла: студенческие годы среди плоскодонок и башенок Оксфорда, грезы о прекрасных девушках, зарождение интереса к науке и глубоким философским вопросам, на которые только наука и может ответить; первые опыты научных исследований, преподавание в Оксфорде и Беркли; возвращение в Оксфорд молодым и ретивым лектором; снова исследования (в основном в сотрудничестве с моей первой женой Мэриан, которая сегодня здесь, за столом в Новом колледже), затем – моя первая книга, “Эгоистичный ген”. Воспоминания летят стремительно: вот мне уже тридцать пять, на полпути к сегодняшнему юбилею. Те годы описаны в моей первой автобиографической книге “Неутолимая любознательность”.

Вспоминая свой тридцать пятый день рождения, я припомнил статью юмориста Алана Корена, где он описывал собственное тридцатипятилетие. Корен изображал, будто его угнетала мысль, что он дожил до середины – и теперь дорога только под уклон. У меня тогда такого ощущения не было – может быть, потому, что я как раз вносил завершающие штрихи в свою первую, довольно юношескую, книгу и предвкушал ее выход и все, что за ним последует.

После выхода книги благодаря неожиданно высоким продажам я вдруг оказался в числе людей, которых журналисты (охочие до лишних сантиметров колонки) регулярно просят составить идеальный список гостей на ужин. Во времена, когда я еще отвечал на подобные запросы, я бы, безусловно, пригласил некоторых блестящих ученых, но также и писателей, и творческих людей всех мастей. Собственно, в любой из моих списков вошло бы не меньше пятнадцати гостей с моего сегодняшнего дня рождения: писатели, драматурги, телеведущие, музыканты, комики, историки, издатели, актеры и магнаты международного бизнеса.

Оглядывая знакомые лица за столом, я думаю, что тридцать пять лет назад вряд ли можно было представить день рождения ученого с таким количеством гостей из мира литературы и искусства. Сменился ли дух времени с тех пор, как Чарльз Сноу сокрушался о разрыве между научной и литературной культурами?<sup>2</sup> Что произошло за годы, к которым теперь обратилась моя мысль? Грезы переносят меня в самую середину тех времен, и передо мной встает огромная, незабываемая фигура Дугласа Адамса, к сожалению, отсутствующего на празднике. В 1996 году, когда мне было пятьдесят пять, а ему на десять лет меньше, мы беседовали на камеру для документального фильма Четвертого канала под названием “Преодолевая научный барьер”. Передача как раз стремилась показать, что наука должна внедриться в широкую культуру, и мое интервью с Дугласом было гвоздем программы. Вот отрывок из его рассуждений:

---

<sup>1</sup> Новый колледж – один из колледжей Оксфордского университета, в котором Докинз работал с 1970 года. – *Здесь и далее, если не указано иное, прим, перев.*

<sup>2</sup> Чарльз Перси Сноу (1905–1980) – английский писатель и ученый. В эссе “Две культуры и научная революция” (1959) описал разрыв между гуманитарной культурой и культурой научно-технического прогресса.

Думаю, роль художественной книги немного изменилась. В XIX веке люди искали глубоких размышлений и философских вопросов именно в книгах. Они обращались к Толстому и Достоевскому. В наши дни, конечно, об этих вопросах намного больше рассказывают ученые, чем можно добиться от романистов. Так что настоящую, сытную пищу для ума я беру в научных книгах, а романы читаю для развлечения.

Может быть, это часть тех самых перемен? Может быть, писатели, журналисты и прочие, кого Чарльз Сноу уверенно отнес бы к “первой культуре”, все больше включаются во вторую? Если бы Дуглас был жив, смог бы он – через двадцать пять лет после того, как изучал английскую филологию в Кембридже, – вернуться к романам и найти в них то, что привык искать в науке: скажем, у Иэна Макьюэна или Антонии Байетт? Или у других романистов, которые увлекались наукой – например, у Филипа Пулмана, Мартина Эмиса, Уильяма Бойда или Барбары Кингсолвер? А еще есть весьма успешные пьесы, черпавшие вдохновение в науке, – например, у Тома Стоппарда и Майкла Фрейна. Может ли быть, что звездное общество, которое собрала в мою честь моя жена Лалла Уорд (она актриса и художница и при этом хорошо разбирается в науке), – не только веха моей частной жизни, но и своего рода знак культурных перемен? Может ли быть так, что мы наблюдаем созидательное объединение научной и литературной культур – и возникновение “третьей культуры”: ради этого незримо трудился мой литературный агент Джон Брокман, он держит процветающий онлайн-салон и взрастил множество блистательных научно-популярных авторов. Или, может быть, это слияние культур, к которому я сам стремился в книге “Расплетая радугу”, где под влиянием Лаллы я старался дотянуться до литературного мира и навести мосты между ним и наукой. *Но где же прошлогодний Сноу?*

Об этом есть две истории (а если вы не любите отступления с историями – вероятно, вы читаете неподходящую книгу). Один из гостей на этом ужине в Новом колледже, путешественник и искатель приключений Редмонд О’Хэнлон, описавший свои странствия в неизменно смешных книгах, например, “В сердце Борнео” (*Into the Heart of Borneo*) и “Снова в беде” (*In Trouble Again*), вместе с женой Белиндой устраивал литературные вечеринки и ужины, на которые, кажется, приглашали весь литературный Лондон. Писатели и критики, журналисты и редакторы, поэты и издатели, литературные агенты и литературные гиганты слетались к ним в отдаленный уголок графства Оксфордшир: дом был набит чучелами змей, засушенными головами, выдубленными временем мертвыми телами, книгами в переплетках из выдубленной кожи – экзотическими диковинками от антропологии и, возникает подозрение, антропофагии. Их вечера славились обществом, а когда приезжал Салман Рушди – еще и присутствием телохранителей, которые образовывали собственное общество наверху.

В день очередного такого сборища у нас с Лаллой гостил Нейтан Мирволд, технический директор *Microsoft* и один из самых изобретательных гиков Кремниевой долины. По образованию Нейтан – математический физик. После защиты диссертации в Принстоне он работал в Кембридже со Стивеном Хокингом: тогда Стивен еще мог говорить, но понимали его лишь несколько приближенных, которые выступали в роли переводчиков для остального мира. Нейтан был одним из таких высококвалифицированных научных секретарей. Теперь он по-настоящему раскрылся и стал одним из передовых мыслителей в сфере высоких технологий. Мы сказали пригласившим нас Редмонду и Белинде, что у нас дома гость, и они, проявив свое обычное радушие, велели нам взять его с собой.

Нейтан слишком вежлив, чтобы единолично завладеть разговором, но, видимо, его соседи за столом спросили, чем он занимается, и беседа перетекла в обсуждение теории струн и прочих загадок современной физики. Весь избранный литературный круг был околдован. Несомненно, они начали, как обычно, с обмена изящными шуточками с соседями. Но с того конца стола, где сидел Нейтан, неумолимо нахлынула волна интереса к науке, и вечер превра-



тился в неофициальный семинар о странностях современной физики. Когда в семинаре участвуют умы такого калибра, как за тем ужином, начинается интересное. Мы с Лаллой грелись в лучах его славы: ведь именно мы привели этого неожиданного гостя на вечер, который стал воплощением “третьей культуры”. Потом Редмонд позвонил и сказал Лалле, что никогда еще, за все годы вечеринок, он не видел, чтобы именитые литературные гости пребывали в таком потрясенном молчании.

Вторая история практически зеркальна первой. Драматург и романист Майкл Фрейн с женой, знаменитой писательницей Клэр Томалин, гостили у нас с Лаллой, когда выдающуюся пьесу Майкла “Копенгаген” ставили в театре “Оксфорд плейхаус”. В пьесе идет речь об отношениях двух гигантов современной физики – Нильса Бора и Вернера Гейзенберга – и о загадке из истории науки: зачем Гейзенберг приехал к Бору в Копенгаген в 1941 году и какую роль Гейзенберг сыграл в войне (см. также стр. 328). После спектакля Майкла отвели в комнату наверху, где собрались оксфордские физики – они забросали его вопросами. Мне невероятно повезло слушать, как аристократ от литературы и философии принимал вопросы от виднейших оксфордских ученых, среди которых были даже члены Лондонского королевского общества. Еще один вечер в копилку поборников третьей культуры, вечер, который бы приятно удивил новых Чарльзов Сноу тридцать лет спустя.

Смею надеяться, что мои книги, начиная с “Эгоистичного гена” в 1976 году, внесли свой вклад в изменение культурного ландшафта – так же, как и работы Стивена Хокинга, Питера Эткинса, Карла Сагана, Эдварда О. Уилсона, Стива Джонса, Стивена Джея Гулда, Стивена Пинкера, Ричарда Форти, Лоуренса Краussa, Дэниела Канемана, Хелены Кронин, Дэниела Деннета, Брайана Грина, двух М. Ридли (Марка и Мэтта), двух Шонов Кэрроллов (физика и биолога), Виктора Стенджера и других и вся дискуссия журналистов и критиков, последовавшая за этими публикациями. И здесь я оставляю за скобками научных журналистов, которые популярно разъясняют науку широкой публике, – хотя они тоже молодцы. Я говорю о книгах профессиональных ученых, предназначенных для читателей-профессионалов в той же или смежных областях, но написанных таким языком, что широкая публика может заглянуть через плечо и присоединиться. Хотелось бы думать, что в запуске “третьей культуры” поучаствовал и я.

В отличие от “Неутолимой любознательности”, второй том моей автобиографии не выдержан в хронологическом порядке; более того, воспоминания на моем семидесятом дне рождения – даже не единственный взгляд в прошлое в этой книге. Скорее здесь собран ряд воспоминаний, разбитых по темам, прерываемых отступлениями и байками. Раз мы избавились от жесткой хронологии, то и порядок глав будет более-менее случайным. В первом томе я писал: “Прежде всего именно благодаря Оксфорду я и стал тем, кем стал”<sup>3</sup>, – так почему бы не начать с моего возвращения в эти стены, сложенные из известняка и источающие свет мудрости?

---

<sup>3</sup> Цит. по: Ричард Докинз. *Неутолимая любознательность*. Пер. П. Петрова. М.: Corpus, 2018.

## Доны и их закидоны

С 1970 года до 1990-го я преподавал поведение животных на кафедре зоологии в Оксфорде, с 1990 до 1995-го был старшим преподавателем. Чтение лекций было не слишком обременительным – по крайней мере, по американским меркам. Кроме лекций по поведению животных я также представил новый курс по эволюции (конечно, эволюция всегда была одной из основных тем программы, но новый курс позволял студентам извлечь еще больше пользы из накопленных в Оксфорде знаний по предмету). Я преподавал не только студентам, изучавшим зоологию или биологические науки, но и тем, кто выбрал направление “Науки о человеке” или психологию (эти специализации позволяли получить диплом по углубленной программе, и одна из экзаменационных тем была посвящена поведению животных).

Также я каждый год читал студентам-зоологам технический курс по компьютерному программированию. К слову сказать, там проявлялась поразительная дисперсия студенческих способностей – разрыв между сильнейшими и слабейшими был намного шире, чем мне доводилось замечать в других предметах. Слабейшим так и не удавалось разобраться, несмотря на все мои усилия и на то, что невычислительные темы курса не вызывали у них трудностей. А сильнейшие? Кейт Лесселс, например, явилась на практику с опозданием, пропустив все занятия первой половины семестра. Я запротестовал: “Вы ни разу в жизни не прикасались к компьютеру, да еще и пропустили целых четыре недели. Как вы собираетесь выполнить сегодняшнее практическое задание?”

“Что вы говорили на лекциях?” – невозмутимо отвечала эта девушка с уверенным взглядом и мальчишескими повадками.

Я был озадачен. “Вы и правда хотите, чтобы я за пять минут пересказал вам четыре недели лекций?”

Она кивнула, с той же невозмутимостью и будто бы с ироничной полуулыбкой.

“Ладно”, – сказал я. Не уверен, бросал ли я вызов ей или себе самому: “Вы сами напросились”. И я изложил четыре часа лекций за пять минут. Она только кивала после каждого предложения, не говоря ни слова и не делая заметок. Затем эта невероятно умная девушка села за консоль, выполнила задание и покинула аудиторию. По крайней мере, так запомнилось мне. Может быть, я немного преувеличиваю, но, судя по всей дальнейшей карьере Кейт, было именно так.

В мои преподавательские обязанности, помимо лекций и практических занятий на кафедре зоологии, входили консультации: я проводил их в Новом колледже (новым он был в 1379 году, а сегодня – один из старейших в Оксфорде), членом совета которого стал в 1970-м. Большинство преподавателей и профессоров в Оксфорде и Кембридже также являются членами совета одного из тридцати или сорока частично независимых колледжей (они же холлы), составляющих оба эти университета-федерации. Зарплату мне платил частично Оксфордский университет (где моими основными обязанностями было читать лекции и проводить исследования на кафедре зоологии), а частично Новый колледж, в котором я должен был вести не менее шести часов консультаций в неделю – зачастую для студентов других колледжей, по договоренности об обмене с их преподавателями; в биологических науках, в отличие от других областей, это было распространенной практикой. Когда я начал преподавать, консультации обычно проходили один на один, но постепенно вошли в обиход и консультации студентов по двое. Будучи студентом, я обожал эту систему и больше всего любил консультации один на один, где можно было читать свою работу преподавателю вслух, а тот либо делал заметки для последующего обсуждения, либо прерывал чтение своими комментариями. Сегодня на оксфордских консультациях чаще можно увидеть одновременно двоих, если не троих студентов, а работы обычно не читают вслух, а сдают заранее.

В мои ранние годы в Новом колледже все студенты были мужского пола. В 1974 году те из нас в совете колледжа, кто хотел открыть прием женщинам, совсем немного не дотянули до необходимого большинства в две трети. Некоторые наши оппоненты были откровенными женоненавистниками. Самые удручающие образцы такого сорта, к счастью, остались далеко в прошлом, так что мне нет нужды приводить их ужасающие аргументы. Кстати, на собрании колледжа я с удовольствием применил статистические методы, чтобы опровергнуть некоторые вопиющие заявления об академических способностях женщин.

На самом деле в 1974 году мы победили в первом голосовании – за изменение устава, по которому стало бы *возможно* принимать женщин. Но – в результате типичной парламентской уловки – ценой победы оказалась уступка: мы согласились провести отдельное голосование в следующем семестре по вопросу *фактического* приема студенток. Мы предполагали, что второе голосование тоже решится в нашу пользу, но вышло иначе. Может быть, оппоненты, выговорившие уступку, хитроумно предвидели, что обладатель решающего голоса будет в академическом отпуске в Америке. Как бы то ни было, в итоге Новый колледж неожиданно не попал в число первых пяти мужских колледжей, которые стали принимать женщин, хотя мы изменили свой устав одними из первых, чтобы это стало возможно (и самыми первыми, еще задолго до меня, кто вынес этот вопрос на официальное обсуждение). Окончательный шаг мы сделали, вместе с большинством остальных колледжей Оке-форда, только в 1979 году. А в 1974-м, хотя мы еще не могли принимать студенток, но изменение устава позволяло избирать женщин в совет колледжа. К сожалению, первая избранная, будучи заслуженным светилом в своей области науки, сама вдруг проявила женоненавистнические свойства: она не жаловала студенток и молодых женщин-коллег (как я выяснил от одной из них, с которой мы сдружились). Впрочем, на следующих выборах нам повезло больше, и теперь Новый колледж – процветающее разнородное сообщество со всеми его преимуществами.

## Новобранцы

Одной из моих гнетущих обязанностей был прием юных биологов в Новый колледж. Угнетала в этом необходимость отказывать стольким достойным и заинтересованным кандидатам: конкуренция была очень высока. Каждый ноябрь во всей Британии и далеко за ее пределами молодые люди срываются с мест и стремятся на вступительные собеседования в Оксфорд; многие заметно дрожат от холода в тонких, не по погоде костюмах. Колледжи размещают их в общежитиях, откуда выехали почти все действующие студенты, кроме нескольких добровольцев, оставшихся “пасти” абитуриентов, показывать им университет и стараться сделать так, чтобы они не дрожали ни от чего, кроме холода.

Вдобавок к собеседованию абитуриентов я должен был читать их ответы на вступительные экзамены (пока те не отменили) и участвовать в составлении вопросов для этого весьма своеобразного испытания (“Зачем животным головы?” “Почему у коровы четыре ноги, а у табу-рета для дойки три?” Если что, все эти вопросы придумал не я). И на вступительных экзаменах, и на собеседованиях мы смотрели не на фактические знания. Что именно мы проверяли, назвать затруднительно: да, интеллект, но не просто IQ. Наверное, что-то вроде “способности конструктивно рассуждать особым способом, требуемым для предмета”, в моем случае – биологии: мы искали нестандартное мышление, биологическую интуицию, может быть, “обучаемость” – или даже пытались определить, “будет ли этого человека приятно учить, такой ли это человек, которому пойдет впрок наша старинная схема обучения и особенно наша уникальная система консультаций”.

Пришло время отступления, смысл которого станет ясен чуть позднее. В 1998 году меня пригласили вручать приз в финале “Битвы университетов”. Это викторина телеканала Би-би-си на общую эрудицию: представители университетов (причем в отборе колледжи Оксфорда и Кембриджа считаются независимыми учебными заведениями) соревнуются в играх по сложной схеме на выбывание. Планка демонстрируемых знаний может быть поразительно высокой: популярное шоу “Кто хочет стать миллионером?” не выдерживает никакого сравнения; оно привлекательно, вероятно, благодаря элементу азартной игры и высоким денежным ставкам. В своей речи в Манчестере, вручая приз победителям “Битвы университетов” 1998 года (Модлин-колледж, Оксфорд, одолевший в финале лондонский Биркбек), я сказал (если верить цитате в Википедии, которая, впрочем, согласуется с моими воспоминаниями):

Мы с коллегами ведем в Оксфорде кампанию за отмену аттестационных экзаменов в качестве критерия приема студентов и предлагаем заменить их на “Битву университетов”. Я говорю совершенно серьезно. Важны не столько знания, сколько цепкий ум, вбирающий в себя все вокруг, – именно такой тип мышления нужен, чтобы победить в “Битве университетов”, и в университете тоже требуется именно он.

Мне рассказывали о студентке, которая изучала в Оксфорде историю, но не могла найти на карте мира Африку. Когда я сказал коллеге, что ее не следовало принимать в наш (и в любой другой) университет, он возразил: может быть, она пропустила тот конкретный урок географии в школе. Но дело ведь не в этом. Если для того, чтобы знать, где находится Африка, вам нужен урок географии, если к семнадцати годам вы каким-то образом не сумели впитать это знание из окружающей среды или просто полюбопытствовать – у вас явно не тот тип ума, которому пойдет на пользу университетское образование. Это предельный случай, наглядно показывающий, почему я предлагал включить во вступительные испытания тест на общую эрудицию вроде “Битвы университетов” – не ради самой эрудиции, но в качестве пробы на обучаемость ума.

Мое предложение (в котором была лишь доля шутки) пока не дождалось серьезного приёма. Но в Оксфорде стремились (и стремятся) проверять не только узкоспециализированные знания по избранным дисциплинам. Классический вопрос, который я мог задать на собеседовании (позаимствовав идею у Питера Медавара<sup>4</sup>), звучал так:

Художник Эль Греко был известен манерой писать удлинённые, тонкие фигуры. Предполагали, что причиной этого мог быть дефект зрения, из-за которого ему все виделось вытянутым в вертикальном направлении. Как вам кажется, эта гипотеза правдоподобна?

Некоторые студенты догадывались сразу же и получали от меня высокую оценку: “Нет, это негодная идея, потому что тогда собственные картины казались бы ему *еще более* вытянутыми”. Некоторые сначала не понимали, но мне удавалось цепочкой рассуждений навести их на верный ход мыслей. Некоторые были явно заинтригованы, иногда злились на себя, что не сообразили сразу. Им я тоже ставил достаточно высокие оценки – за обучаемость. Некоторые вступали в спор, это я тоже оценивал: “Может быть, зрение Эль Греко искажало только предметы, расположенные вдаль, например, моделей, но не полотна, на которые он смотрел вблизи”. А некоторые просто не соображали, даже когда я пытался подвести их к разгадке, и я оценивал их низко: с такими было менее вероятно, что оксфордское образование пойдет им на пользу.

Задержусь еще немного на вопросах, которые оксфордские преподаватели задают на собеседованиях. Отчасти потому, что, по-моему, искусство собеседования для поступления в университет интересно само по себе. Но также, если я выдам немножко внутренних секретов, это может помочь будущим студентам, надеющимся поступить в один из университетов, которые до сих пор проводят собеседования (хотя такие сейчас и редки).

Иногда я пользовался другой загадкой, похожей на упомянутый “вопрос Эль Греко”:

Почему зеркала переворачивают изображение слева направо, но не сверху вниз? И к чему относится эта задача – к психологии, физике, философии или еще к чему-то?

Главным образом я проверял, опять же, обучаемость студентов: их способность следовать за цепочкой рассуждений, даже если не удастся с ходу найти разгадку. На самом деле конкретно эта задача на удивление сложна. Тут полезно взглянуть на нее иначе и рассуждать не о зеркалах, а о стеклянных дверях – скажем, о двери в отеле, на которой написано “Вестибюль”. Если посмотреть на нее с другой стороны, на ней написано “акснайтэла”, а не “яаэхизошч”. Для стеклянной двери эффект объяснить проще, чем для зеркала. А обобщить до зеркала поможет уже элементарная физика: хороший пример того, как важно взглянуть на задачу под другим углом, чтобы разрешить ее.

Или я напоминал студентам, что изображение на сетчатке перевернуто, но мы видим мир в нормальном положении. “Попробуйте привести объяснение”. Еще один излюбленный вопрос на биологическую интуицию начинался так: “Сколько у вас бабушек и дедушек?” Четверо. “А прабабушек и прадедушек?” Восемь. “А сколько прапрабабушек и прапрадедушек?” Шестнадцать. “Хорошо, а как вы думаете, сколько у вас было предков две тысячи лет назад, во времена Христа?” Те, что поумнее, подмечали любопытный факт: нельзя бесконечно умножать на два, потому что количество предков быстро превысит миллиарды ныне живущих людей, не говоря уже о том, что во времена Христа население планеты было сравнительно маленьким. Из этих рассуждений они успешно делали вывод, что все мы родственники и что наши общие предки жили не так давно. Этот же вопрос мог бы прозвучать в другой формулировке: “Как

---

<sup>4</sup> Питер Медавар (1915–1987) – английский биолог и писатель, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1960 года, один из кумиров Ричарда Докинза.

далеко в прошлое нужно отправиться, чтобы добраться до нашего с вами общего предка?” Я бережно храню воспоминание об ответе одной девушки из валлийской глубинки. Она безжалостно оглядела меня с ног до головы и медленно вынесла вердикт: “До самых обезьян”.

Боюсь, она не поступила (но не из-за этого). Не поступил и юноша из общественной школы<sup>5</sup>, который откинулся на стуле (моя память рисует, как он положил ноги на стол – но это, видимо, все-таки ложное воспоминание, вызванное общим впечатлением от него) и протянул в ответ на одно из моих лучших заданий с подвохом: “Вопрос чертовски дурацкий, вы не находите?” Надо сказать, по его поводу я пребывал в нерешительности, но конкуренция была слишком высока, так что я рекомендовал его одному задиристому коллеге из другого колледжа, и тот его принял. Юноша позже отправился проводить полевые исследования в Африке и, рассказывают, одним взглядом уgomонил разъяренного слона.

Также мне нравится вопрос, который любил задавать на собеседованиях коллега с философского факультета: “Откуда вы знаете, что это все происходит наяву?” У другого коллеги был такой:

Один монах [не знаю, почему именно монах – наверное, для экзотики] на рассвете отправился по длинной извилистой дороге от подножия горы к вершине. Он поднимался весь день. Добравшись до пика, он переночевал в горной хижине. Наутро, в то же самое время, он отправился вниз по той же тропинке. Можно ли с уверенностью утверждать, что на тропинке есть точка, которую монах прошел в оба дня точно в одно и то же время?

Ответ – да, но не все способны понять или объяснить почему. Помогает, опять же, посмотреть на задачу под другим углом. Представьте, что в момент, когда монах отправляется наверх, другой монах одновременно отправляется в обратный путь по той же тропе, с вершины вниз. Очевидно, что в какой-то точке тропы два монаха встретятся. Эта загадка позабавила меня, но не думаю, что я задавал ее на собеседованиях, потому что, как только вы понимаете в чем дело, она, в отличие от вопроса про Эль Греко (или про зеркала, или про перевернутое изображение на сетчатке, или тем более про явь и сон), не ведет никуда дальше. Но, опять же, она показывает силу взгляда под другим углом. Пожалуй, это черта “нестандартного мышления”.

А вот вопрос, который я ни разу не задавал, но он может подойти для проверки математической интуиции того рода, что требуется биологам (интуиции – в противоположность математическим навыкам вроде алгебраических манипуляций или арифметических вычислений; но последние тоже не повредят). Почему такое множество воздействий – гравитация, свет, радиоволны, звук – подчиняется закону обратных квадратов? По мере удаления от источника сила воздействия резко снижается пропорционально квадрату расстояния, но почему? Можно сформулировать интуитивное объяснение: воздействие распространяется вовне во всех направлениях, расплаываясь по внутренней поверхности расширяющейся сферы. Чем больше площадь расширяющейся поверхности, тем более “тонко размазано” воздействие. Площадь поверхности (как мы помним из евклидовой геометрии и могли бы доказать, если бы поставили такую цель, – но на собеседовании не будем утруждаться) пропорциональна квадрату радиуса. Отсюда закон обратных квадратов. Вот вам математическая интуиция, которую не обязательно сопровождать математическими манипуляциями: важное качество для студентов-биологов.

Далее на собеседовании может разгореться менее математическое, но не менее любопытное обсуждение возможных биологических применений закона, что поможет оценить обучаемость студента. Самка бабочки тутового шелкопряда привлекает самца, испуская химическое

---

<sup>5</sup> Странное английское название частной школы. – Прим. автора.



вещество – так называемый феромон. Самцы улавливают его на поразительно больших расстояниях. Следует ли ожидать здесь проявления закона обратных квадратов? На первый взгляд, возможно, да, но студент может отметить, что феромон будет сдувать ветром в определенном направлении. Как это скажется? Студент также может указать, что даже в безветренную погоду феромон не будет распространяться вовне по расширяющейся сфере, хотя бы потому, что половину сферы остановит земля, а большая часть другой половины будет слишком высоко. Здесь преподаватель, возможно, захочет раскрыть следующий занимательный факт, которого студент, скорее всего, не знает.

В силу взаимодействия между градиентами температуры и давления на некоторых глубинах моря звук распространяется в воде дальше (и медленнее). Существует слой, который называют подводным звуковым каналом, в котором звук распространяется скорее как расширяющееся кольцо, чем сфера, поскольку отражается от границ слоя – обратно внутрь него. Роджер Пейн, выдающийся специалист по китам и борец за охрану природы, полагает, что, когда особенно голосистые киты оказываются в подводном звуковом канале, их песни теоретически можно услышать с другой стороны Атлантики (что само по себе захватывающе и должно увлечь собеседуемого студента). Применим ли закон обратных квадратов к песням этих китов? Если бы звук “распластывался” по внутренней поверхности расширяющегося кольца, студент мог бы рассудить, что площадь “распластывания” будет пропорциональна скорее радиусу, чем квадрату радиуса (длина окружности прямо пропорциональна радиусу). Но, конечно, кольцо не было бы идеально плоским. Здесь меня бы устроил и даже привел в восторг резонный ответ: “Это уже становится слишком сложным для моей интуиции, давайте позвоним кому-нибудь из физиков”.

Я привязывался ко многим из этих абитуриентов – думаю, как и большинство преподавателей. Более чем половине я был вынужден отказывать – и расстраивался от этого. Я старался изо всех сил, чтобы они поступили в другие колледжи Оксфорда, расхваливая коллегам “своих” кандидатов. Я злился, когда другой колледж принимал кандидата, который мне казался явно менее подходящим, чем те, кого мы не смогли взять в Новый колледж просто в силу численных ограничений. Но предполагаю, что коллеги так же привязывались к “своим” абитуриентам. Об оксфордской системе, позволяющей каждому колледжу принимать абитуриентов независимо, можно сказать мало хорошего и много плохого. Подозреваю, что сама по себе сложность системы отпугивает многих абитуриентов от того, чтобы вообще подавать документы в Оксфорд. И это более разумная причина обойти нас стороной, чем абсурдное заблуждение, будто в Оксфорде царят “элитизм” или “снобизм” (надо признать, когда-то так и было, но теперь все совсем наоборот).

Большую часть взрослой жизни я выглядел моложе своих лет (мы еще вернемся к этому в главе о телевидении), и как-то раз во время вступительных собеседований произошел забавный случай. Изнемогая от жажды после целого дня собеседований с абитуриентами, я укрылся в пабе “Королевский герб” неподалеку от Нового колледжа. Я стоял у стойки и ждал пива, когда ко мне стремительно прошагал высокий юноша, добродушно похлопал по плечу и спросил: “Ну, как у тебя все прошло?” Я узнал в нем одного из абитуриентов, которого совсем недавно беседовал. Должно быть, он тоже запомнил меня в лицо, поскольку видел меня в тот день, и решил, что я один из его соперников. Этот юноша, Эндрю Помянковски, получил место в Новом колледже, окончил с блестящим дипломом первой степени, затем отправился в аспирантуру к Джону Мэйнард Смуту в Сассекский университет, а теперь он профессор эволюционной генетики в Университетском колледже Лондона. Он лишь один из множества очень умных студентов, которых мне довелось учить.

Расскажу еще одну историю о необыкновенном студенте, с которым отлично работала система консультаций. На этих встречах в Новом колледже я часто задерживался со студентом у себя в кабинете, и следующему приходилось ждать за дверью. Но что мой голос слышно

через дверь, я сообразил только в тот раз, когда посреди моих рассуждений дверь внезапно распахнулась и следующий студент ворвался с негодующим криком: “Нет-нет-нет, я никак не могу с этим согласиться!” Встречайте, Саймон Барон-Коэн. Уверен, что прав был он, а не я. Теперь он профессор в Кембридже, знаменитый новаторскими исследованиями аутизма (но чуть менее знаменитый, чем его двоюродный брат, забавно-скандальный актер Саша Барон-Коэн).

Алан Грейфен, мой аспирант, звездный ученик, а впоследствии – учитель (который будет еще не раз упомянут в следующих главах), не был моим студентом в Новом колледже, но у меня учился его друг и соавтор Марк Ридли. Марк менее склонен к математике, чем Алан; Марк неимоверно эрудирован и начитан, обладает острым критическим умом и способностью к синтезу, он блестящий историк биологии и талантливый писатель. Впоследствии он написал много важных книг, в том числе ту, что стала одним из двух главных учебников по эволюции: книжные магазины американских университетов закупают их кубометрами, регулярно пополняя запасы переизданиями. Алан и Марк не раз работали вместе, в том числе – над полевым проектом по альбатросам; тогда они жили в палатках на одном из Галапагосских островов, с ними еще была Кати Рехтен, необычайно умная девушка из Германии. Позже Алан рассказывал, как они с Марком вместе летели на Галапагосы: с соседнего кресла он все время слышал какой-то странный низкий бормочущий звук. Выяснилось, что это был Марк: он читал себе вслух латинскую поэзию. Таков Марк, и я не сомневаюсь, что долготу гласных в элегических дистихах он выдерживал идеально. Весьма в духе Марка и формулировка благодарности в его первой книге: “Профессору Саутвуду, который временно заменил мне научного руководителя, когда Ричард Докинз на два семестра уехал в творческий отпуск на Плантации”. Под Плантациями имелась в виду Флорида.

Марка не следует путать с его оксфордским современником, Мэттом Ридли (родственных связей не установлено, хотя Мэтт провел исследования и выяснил, что они принадлежат к одному Y-хромосомному племени). Обоих я считаю близкими друзьями, оба – первоклассные биологи и успешные писатели. Как-то раз одному редактору удалось получить от них рецензии на книги друг друга – для одного и того же выпуска журнала, о чем эти двое не знали. Каждый хорошо отозвался о другом, а Марк написал, что книга Мэтта “станет прекрасным дополнением к нашему общему резюме”.

В 1984 году мы с Марком приняли приглашение издательства “Оксфорд юниверсити пресс” стать первыми редакторами нового ежегодного журнала *Oxford Surveys in Evolutionary Biology* (“Оксфордские обзоры по эволюционной биологии”). Мы продержались на этом посту лишь три года, а затем передали свое детище Полу Харви и Линде Партридж. Но мы были очень довольны тем, каких выдающихся авторов удалось заманить за эти три года (статьи авторам заказывались, а не принимались от них) и какими звездами блистала первая страница – список редколлегии.

Я очень серьезно подходил к подготовке своих оксфордских студентов к выпускным экзаменам. В Америке студенты обычно сдают экзамены по каждой изучаемой дисциплине в конце каждого семестра (а иногда и в середине семестра). В Оксфорде все обстоит иначе. Каждый колледж по своему усмотрению проводит неформальные тесты, которые у нас называются “собрания”, чтобы отслеживать прогресс обучения; но они никак не отражаются на официальном учете успеваемости. Большинство оксфордских студентов не сдает никаких других экзаменов с конца первого года обучения до конца третьего. Все упаковано в одно кошмарное испытание – выпускные экзамены, или просто “выпуск”, кошмарность которых усугубляется требованием парадной академической формы одежды<sup>6</sup>. В мои времена мужчины должны были одеваться в темные костюмы и белые галстуки-бабочки, женщины – в белые рубашки, тем-

---

<sup>6</sup> *Subfusc* — парадная форма академической одежды, принятая именно в Оксфорде.

ные юбки и черные галстуки, сверху – черная академическая мантия и черная академическая шапочка. С 2012 года руководство изящно сформулировало политически приемлемую слепоту в отношении пола: “Студенты, относящие себя к любому из полов, могут носить исторически мужские или женские костюмы”.

К устрашающей атмосфере, которую создает форма, добавляется строгий надзор. По формальным правилам, если студентам нужно выйти в туалет, им полагается сопровождающий того же пола, который проследит, чтобы они не подглядывали в шпаргалки. К тому времени, как я стал наблюдателем на экзаменах, мы обычно не утруждали себя соблюдением этого правила. Во всяком случае, в мои времена не требовалось прошупывать экзаменуемых на предмет мобильных телефонов с выходом в интернет, как это, предполагаю, требуется сегодня.

Все действие устроено так, чтобы внушать ужас, и в пору экзаменов нередко случаются нервные срывы. Мой коллега Дэвид Макфарленд, преподаватель психологии в Баллиол-колледже, однажды получил звонок от наблюдателя с экзамена: “Ваш ученик, мистер такой-то, беспокоит нас. С начала экзамена его почерк становился все крупнее, сейчас каждая буква у него шириной три дюйма”.

Я считал своим преподавательским долгом почаще встречаться со студентами в течение последнего семестра, так сказать, вести их за руку сквозь испытание долгой подготовкой и выпускными экзаменами. Я собирал всю группу у себя в кабинете и проводил регулярные занятия для отработки экзаменационной техники: они писали множество пробных экзаменационных работ – на каждую отводилось ровно по часу. Добровольно установленное ограничение времени было очень важно. На каждом письменном экзамене им давали три часа на три эссе, на темы по выбору из списка примерно двенадцати предложенных. На общих консультациях я настоятельно рекомендовал студентам не слишком отклоняться от того, чтобы на каждое эссе отвести одинаковое время, около часа. Я немного преувеличивал, чтобы предостеречь: рассказывал, как в стрессовой ситуации множество людей попадает в ловушку – увлекается любимой темой и посвящает ей почти все время, и его практически не остается на нелюбимые вопросы.

“Предположим, вы эксперт мирового уровня по теме своего любимого вопроса, – рассуждал я. – Вы не успеете написать и доли того, что знаете”. Отдавая дань Эрнесту Хемингуэю, я ратовал за “метод айсберга”. Девять десятых айсберга находятся под водой. Если вы мировой эксперт по заданной теме, вы могли бы писать о ней до скончания времен. Но у вас, как и у всех остальных, есть только час. Поэтому примените хитрость – покажите верхушку айсберга и позвольте экзаменатору сделать заключение о его масштабах, скрытых под поверхностью. Напишите: “Невзирая на возражения Брауна и Макалестера...” – так вы покажете экзаменатору, что, будь у вас достаточно времени, вы бы разнесли Брауна и Макалестера в пух и прах. Но не налегайте на них по-настоящему – это отнимет слишком много времени, которого тогда не хватит на верхушки других айсбергов, по которым нужно проскакать. Достаточно упомянуть нужные имена, и экзаменатор домыслит остальное.

Важно добавить, что метод айсберга работает только на допущении, что экзаменатор владеет материалом. Писать в виде айсберга, скажем, инструкции к технике нельзя ни в коем случае: там автор знает, что хочет передать, а читатель – нет. На этом настаивает и Стивен Пинкер в своей блестящей книге “Чувство стиля”, говоря о “проклятии знания”. Объясняя что-то человеку, который знает меньше вас, нужно поступать прямо противоположно методу айсберга. На экзаменах она работает только потому, что вашим читателем, по всей вероятности, будет знающий экзаменатор.

Когда я сам был студентом, мудрый и высокообразованный Гарольд Пьюзи проводил такие же консультации со мной и группой моих современников: метод айсберга был среди его рекомендаций. Кажется, он использовал метафору не айсберга, а витрины магазина: так тоже работает. Привлекательная витрина магазина будет обставлена негусто. Несколько распо-

ложенных со вкусом вещей наводят на мысли о скрывающихся внутри богатствах. Хороший декоратор не захламляет витрины всем, что есть в магазине.

Еще один совет мистера Пьюзи (да, всего лишь “мистера”: это был дон старой школы, он решил не утруждать себя защитой диссертации), который я передавал своим студентам дословно, был таков. Прочитав список экзаменационных вопросов и обнаружив любимую тему, не начинайте сразу о ней писать. Сначала выберите три вопроса из двенадцати, затем составьте письменные планы для всех трех эссе, каждый на отдельном листе бумаги, и только потом начинайте писать. Далее, пока вы пишете первое эссе, в вашу подготовленную голову непременно потекут мысли для двух других. Кратко записывайте их на соответствующих листах. Когда дело дойдет до второго и третьего вопросов, вы обнаружите, что большая часть мысленной работы уже сделана, а времени на нее практически не потрачено. Я слышал, что так советуют поступать и американским школьникам, сдающим выпускные экзамены повышенной сложности.

Впрочем, я не отваживался повторять студентам другой совет Гарольда: прекращайте готовиться ровно за неделю до экзаменов; проведите ее за катанием на лодках – пусть все уложится в голове. Но я пересказывал еще одну его мудрую мысль: во время выпускных экзаменов в Оксфорде у вас в уме скопится больше концентрированного знания, чем когда-либо еще в жизни. Ваша задача при подготовке к экзаменам – разложить все по полочкам, пока горячо. Ищите связи и взаимоотношения между разными областями своих знаний.

За годы работы на кафедре зоологии мне иногда приходилось бывать и экзаменатором; это огромная ответственность – не говоря уже о том, какой это труд. Невозможно избежать груза понимания, что твои решения повлияют на всю жизнь перспективных и энергичных молодых людей. Несправедливость встроена в саму систему. Так, по результатам студентов разбивают на три отдельных класса, хотя всем известно, что последние в более высоком классе ближе к первым в следующем, чем к первым в своем классе. Я писал об этом в “Тирании прерывистого ума” (в журнале *New Statesman* в роли приглашенного редактора) и не буду повторять свои рассуждения здесь.

Но есть и аспекты, где экзаменатор может и должен проявить инициативу, чтобы не дать свершиться несправедливости. Насколько вы уверены, например, что *порядок* чтения студенческих работ неважен? Не устанете ли вы, читая одну за другой? Не сдвинется ли от этого планка оценки, будь то вверх или вниз? Пусть вы не устаете физически, но не становится ли скучнее от неизбежной предсказуемости, когда в голову один за другим валятся ответы на тот же популярный вопрос? Не дает ли это несправедливого преимущества студентам, выбравшим непопулярные вопросы? И так ли несправедливо это преимущество? Не дает ли “эффект усталости или скуки” несправедливого преимущества работам, которые вы прочитали первыми? Или последними? Я старался предотвратить “воздействие порядка”, пользуясь элементарными принципами, которые все биологи изучают для планирования экспериментов. Не читайте все три эссе одного студента, затем все три другого и так далее. Читайте лучше у каждого первое, потом у каждого второе, потом у каждого третье. И в каждом из трех проходов по работам лучше читать их в случайном порядке, а не каждый раз в одинаковом.

Опять же, не восхищает ли вас изящный почерк и не настраивают ли против себя неряшливые каракули: ведь эти достоинства и недостатки не имеют ничего общего с научным знанием – или имеют? Нам с Мэриан, моей первой женой, обоим довелось побыть экзаменаторами на зоологической кафедре Оксфорда, и в порядке эксперимента мы читали студенческие работы друг другу вслух. Это должно было в некоторой степени избавить от “эффекта почерка” и давало дополнительные преимущества. Дочитав работу, не говоря друг другу ни слова, мы одновременно, на счет “три” (чтобы не повлиять друг на друга), выкликали оценку, которую поставили бы за эту работу. И нас обоих обнадеживала высокая согласованность независимых оценок. В любом случае, все оксфордские работы оценивают двое независимых преподавате-

лей – хорошая мера предосторожности от некоторых видов несправедливости. Еще в нынешние времена имена студентов скрыты и работы обозначены только числовым шифром (в мои экзаменаторские времена такого не было). Это защищает от личных пристрастий и предубеждений, что немаловажно на маленькой кафедре вроде зоологической, где преподаватели лично знакомы с большинством студентов.

Мне случалось беспокоиться об эффекте порядка и в принятии других решений, например, когда я заседал в комитетах, выбиравших новых преподавателей и сотрудников или присуждавших награды и премии. Лондонское королевское общество присуждает ежегодную премию Майкла Фарадея за успехи в популяризации науки для широкой аудитории. Я получил ее в 1990 году, а позже вошел в состав комитета по выбору лауреатов. Членство в комитете устроено на основе ротации, и в последние три года из своих пяти я был председателем. В первые два года, когда председателем был мой предшественник, меня беспокоили порядковые эффекты. На каждого кандидата у нас было досье, состоявшее из резюме и рекомендательных писем. Перед собранием все добросовестно прочитывали эти досье. Пока все выглядит неплохо. Но, собравшись, мы обсуждали всех в некоем порядке – возможно, в алфавитном, что еще хуже, но речь сейчас не о том. Каким бы ни был порядковый принцип, его влияния не избежать. Было явно заметно, что первые несколько досье обсуждали подолгу, но шли часы, и длина обсуждений убывала. Это было особенно досадно потому, что в начале мы могли потратить массу времени, обстоятельно обсуждая кандидата, у которого, как выяснилось, не было никаких шансов и поддержки ни от кого из членов комитета.

Когда я стал председателем, я внес в систему изменения, которые рекомендую для всех подобных комитетов, поэтому опишу их здесь подробно. До того, как комитет (в котором все прочитали досье до собрания) начинал какие-либо обсуждения, каждый из нас тайно записывал на листке бумаги имена трех кандидатов, которых хотел обсудить в первую очередь, и баллы: три балла ведущему кандидату, два – следующему, один – третьему. Затем я собирал листки, суммировал баллы и объявлял общий рейтинг. Я четко оговаривал членам комитета, что мы не голосуем за кандидатов на премию, но голосуем только для того, чтобы определить порядок обсуждения кандидатов. Затем мы, как положено, подробно обсуждали досье кандидатов, но делали это не в алфавитном порядке, не в обратном алфавитном (к которому иногда прибегают в тщетных попытках противостоять известному преимуществу букв “А” и “Д” над “Р” и “Т”) и не в случайном, а в порядке, определенном предварительным тайным голосованием. Закончив обсуждения, мы переходили к завершающему тайному голосованию для выбора победителя. Победить мог тот же кандидат, что возглавлял предварительное голосование о порядке, а мог и кто-то другой: за целый день обсуждений люди могли передумать. Но по старой системе львиная доля времени обсуждений растрачивалась на кандидатов, у которых все равно не было никаких шансов. Новая система означала, что у нас было время подробнее обсудить тех, у кого были хоть какие-то сторонники, и обсудить их в справедливом порядке.

## Заместитель смотрителя

Заседать в комитетах, выбирающих новых преподавателей и научных сотрудников, было лишь одной из моих серьезных обязанностей в Оксфорде. Имелись и другие обязанности – финансовые, наставнические, попечительские. Членство в советах колледжей Оксфорда и Кембриджа означает, в сущности, участие в руководстве крупной благотворительной организацией, и если она относительно богата – как Новый колледж, – то этому руководству требуется принимать решения о выплате или вложении довольно значительных сумм. К тому же члены совета колледжа несут коллективную ответственность за благополучие студентов и дисциплину, за содержание часовни и других значимых средневековых зданий, и многое другое. Для всех основных дел мы избирали из своего числа должностных лиц. Меня, к счастью, никогда никуда не избирали (и правильно – я бы безнадежно провалил задание). Но есть должность, которой не избежать ни одному члену совета Нового колледжа: заместитель смотрителя. Другие колледжи Оксбриджа могут выбирать вице-смотрителем (вице-директором, вице-деканом, вице-проректором и т. п., в зависимости от обескураживающе разнообразных названий, которыми оксфордские колледжи зовут своих начальников) уважаемого коллегу, которому оказывают честь выступать представителем главы колледжа. Но не таковы порядки в Новом колледже. Заместителя смотрителя мы не выбираем: это ярмо длительностью в год неумолимо настигает каждого в списке членов совета колледжа, и уважения к нему не прилагается. Каждый год, пока в 1989-м черная метка не пала на меня, я подсчитывал годы до ее пришествия. Я всегда брал максимальное значение – но каждый раз, когда кто-то из коллег в списке передо мной умирал или (что случалось довольно часто) покидал колледж, чтобы занять профессорский пост где-то еще, – счет зловеще укорачивался на год. “Зловеще”, потому что своей очереди я ожидал с ужасом.

Тягость обязанностей заместителя смотрителя оправдывается их краткостью: всего лишь год вашей жизни. В роли заместителя смотрителя я должен был посещать все заседания комитетов (а значит – и всех подкомитетов, и всех избирающих и назначающих комитетов), а также все общие заседания колледжа, где должен был вести протокол. Как оказалось, вести протоколы мне вполне нравилось – ими я старался позабавить коллег (тех, кто читал протоколы, – то есть вовсе не всех, как мы иногда выясняли во время следующего заседания). Заместитель смотрителя должен возглавлять заседания колледжа, когда смотритель не может на них присутствовать или когда смотрителю не положено участвовать в обсуждении, касающемся его лично. Ответственность становится особенно весомой, когда колледж выбирает нового смотрителя: действующий заместитель должен руководить всей процедурой голосования. К счастью, при мне такого не случилось. Во всех четырех выборах смотрителя, в которых мне приходилось участвовать, действующий заместитель либо уже был достаточно компетентен, либо сумел оказаться на высоте. Однажды, путем некоторого искусного лавирования, вышло так, что год службы члена совета колледжа, известного своим неустойчивым характером, граничащим с мизантропией, был отложен в пользу уважаемого и надежного человека. Кстати сказать, о моей неумелости в политических делах можно судить даже по тому, что в трех из четырех выборов я голосовал за того, кто занял второе место.

В роли заместителя смотрителя я должен был председательствовать за ужином в Главном зале и читать молитву до (*Benedictus benedicat*<sup>7</sup>) и после еды (*Benedicto benedicatur*<sup>8</sup>). Я был среди большинства, которое произносит последнее слово как “бенедиката”, уходя от английского произношения; но некоторые из старших членов совета колледжа с классическим образо-

---

<sup>7</sup> Да благословит благословенный (лат.).

<sup>8</sup> Да благословится благословенному (лат.).



ванием произносили “бене-дай-кей-тур”, как будто это английское слово; это приводило меня в восторг, хотя я и не осмеливался последовать их примеру. Сомневаюсь, что они и вправду думали, будто древние римляне так говорили, но их аргументы наверняка были продуманными и взвешенными и, вероятно, брали свой исток в каком-нибудь незапамятном диспуте церковных наставников. Один из моих предшественников на этом посту, Джефффри де Сент-Круа, специалист по древней истории, отказывался читать молитву по соображениям свободы совести (он называл себя “вежливо воинствующим атеистом”). Но свою совесть он проявлял и тем, что любыми усилиями находил кого-нибудь, кто все же прочтет молитву вместо него. Однажды я был в гостях на ужине в Королевском колледже, нашем сестринском колледже в Кембридже (часовня которого, кстати, – одно из прекраснейших зданий в Англии). Председательствовал один из старших членов совета колледжа, несравненный Сидней Бреннер, один из отцов-основателей молекулярной генетики и заслуженный (а они не всегда заслуженны) лауреат Нобелевской премии. Сидней постучал молотком, призывая всех встать, а затем торжественно провозгласил соседу: “Доктор \*\*\*, не будете ли вы столь любезны прочесть молитву?” Я же придерживался точки зрения великого философа сэра Альфреда Айера, который, будучи заместителем смотрителя Нового колледжа, охотно читал молитву, объясняя: “Я не согласен говорить неправду, но ничего не имею против того, чтобы произносить бессмыслицу”.

За свое согласие с этой позицией я как-то подвергся яростным нападкам ребе Джулии Нойбергер. Одна из самых известных раввинов Британии, кавалерственная дама и член палаты лордов, она несомненно принадлежала к обществу великих и заслуженных. Вытянув из меня на одном торжественном обеде, что я произносил молитву перед едой в столовой Нового колледжа, она гневно обвиняла меня в лицемерии. Я возразил: пусть это многое значит для нее, но для меня не значит ничего, так отчего должен противиться я? Мне это казалось всего лишь жестом вежливости, как снять обувь, входя в индуистский или буддистский храм. Разве это плохо – просто отдать дань уважения древней традиции? (Хотя на самом деле я не уверен, что *Benedictus benedicat* такая уж древняя: возможно, как и многие другие “древние” традиции, она уходит корнями не далее XIX века). Как-то в начале ужина в Веллингтон-колледже после спора, в котором участвовали епископ Оксфордский, философ Э. К. Грейлинг и журналист Чарлз Мур (который зачем-то принес на встречу пару дробовиков), глава колледжа, заслуженно знаменитый Энтони Селдон, жизнерадостно предложил мне прочесть светскую молитву. Оказавшись в неловком положении, я не смог быстро выдумать ничего лучше “За дары, что предстоит нам принять, возблагодарим же повара”.

Самой гнетущей среди обязанностей заместителя смотрителя было произносить речи – обычно приветствуя новых членов совета колледжа или прощаясь с отбывающими. По мере приближения года моих мытарств именно речей я боялся больше всего: передо мной были примеры не только весьма неплохих заместителей, но и совсем жалких. Как оказалось, я был вполне к этому способен, но не экспромтом: мне пришлось провести немало времени, готовя речи заранее, и здесь мне очень помогала Хелена Кронин, философ и историк науки из Лондонской школы экономики, наделенная даром остроумной импровизации, – мы с ней тогда много работали вместе, помогая друг другу писать книги (об этом я расскажу позже).

Произносить речи о новых сотрудниках непросто: в самой природе их “новизны” заложено то, что никто их еще не знает, и в поисках материала приходится полагаться на их письменные *curricula vitae*. Например, в резюме Сюзанн Гибсон, нового преподавателя права, значился профессиональный интерес к “телу как визуальной и нарративной структуре”. Я немного поразвлекся с этим и слепил образ карикатурного будущего адвоката, отучившегося у нее в Новом колледже:

Ваша честь, мой ученый друг представил доказательства, что моего клиента видели закапывающим тело среди ночи. Но, дамы и господа присяжные заседатели, я утверждаю, что тело – это визуальная и нарративная

структура. Невозможно вынести человеку приговор на основании захоронения не более чем визуальной и нарративной структуры.

Сюзи была молодцом, не обиделась на это, и позже мы стали добрыми друзьями. Тем же вечером мне нужно было представить еще одного нового члена совета колледжа, Уэса Уильямса, специалиста по французскому языку, который стал чрезвычайно ценным коллегой. У нас уже были два Уильямса, поэтому я обработал это так:

Долгие годы у нас был лишь один Уильямс. Мы не сдавались, но это смотрелось не очень хорошо, и, боюсь, прошло немало времени, прежде чем нам удалось заполучить второго Уильямса. Сегодня вечером мы с восторгом приветствуем нашего третьего Уильямса, и могу официально заявить, что во все будущие выборные комитеты будет входить хотя бы один символический Уильямс, чтобы все было по-честному

Приветственные речи всегда произносят за десертом. Старомодная церемония торжественного десерта (которая никогда мне не нравилась), в том или ином виде сохранившаяся почти во всех оксбриджских колледжах, проходит после ужина в отдельной комнате: по кругу по часовой стрелке передают портвейн и кларет, сотерн и рейнвейн, а младшие члены совета разносят орехи, фрукты и шоколадные конфеты. В Новом колледже есть хитроумное приспособление под названием “портвейная железная дорога”, датируемое, как можно догадаться, XIX веком. Оно предназначено (и иногда это предназначение исполняет) для транспортировки бутылок и декантеров на блочном механизме, устроенном там, где круг сидящих прерывается камином. Так же, по кругу, традиционно передают нюхательный табак, но нюхают его редко (по крайней мере, со времен одного почтенного члена совета, давно ушедшего в отставку, чье многократное и громоподобное чихание весь вечер дружелюбным эхом отдавалось от дубовых панелей на стенах).

Заместитель смотрителя не рассаживает членов совета и их гостей по местам (в некоторых других колледжах это входит в обязанности председателя), но ожидается, что он будет лучиться радушием, исполняя за десертом роль хозяина. Я старался как мог, но однажды вечером вышла неловкость. Помогая людям найти свои места, я услышал зловещий рокот и понял, что не все обстоит благополучно. Рокотал сэр Майкл Дамметт, именитый философ, преемник Фредди Айера на посту профессора логики имени Уайкхема<sup>9</sup>, ярый защитник грамматики, убежденный и ревностный борец против расизма, мировое светило в области карточных игр и теории голосования, также известный своей вспыльчивостью. Разозлившись, он становился еще белее, чем обычно, и казалось (хотя, может быть, это игра моего воспаленного воображения), что его глаза угрожающе светятся красным. Весьма устрашающе... и мне, как заместителю смотрителя, предстояло попытаться разрешить проблему, в чем бы она ни заключалась.

Рокот перешел в рык. “Меня никогда в жизни так не оскорбляли! Ваши манеры чудовищны! Вы что, из *Итона*?” Мишенью этой череды проклятий, к счастью, был не я, но Робин Лейн Фокс, наш эксцентричный и выдающийся историк античности. Робин панически суетился и растерянно извинялся: “Но что я такого сделал? *Что* я сделал?” Разобраться, в чем была проблема, мне удалось не сразу, но как хозяин я проследил, чтобы эти двое сели как можно дальше друг от друга. Позже удалось выяснить подробности. В тот день все началось за обедом. Он проходил без церемоний, у нас самообслуживание, и сотрудники садятся кто где хочет, хотя обычно столы заполняют по порядку. Робин заметил, как новая сотрудница в нерешительности высматривала место. Он учтиво предложил ей сесть, но, к сожалению, стул, на который он указал, как раз наметил себе сэр Майкл. Обида на жест, который выглядел пре-

---

<sup>9</sup> Во многих университетах существуют “именные” профессорские должности, названные в честь учредителя или мецената. Такую должность (профессор имени Симони) впоследствии занимал и сам Ричард Докинз, о чем еще пойдет речь в этой книге.

небрежительным, тлела и закипала весь день и взорвалась после ужина, за десертом. Недавно я спросил Робина, и он рассказал, что окончилась эта история довольно счастливо. Через пару дней после того удручающего случая профессор Дамметт обратился к нему с самыми любезными извинениями, говоря, что из всех сотрудников колледжа он бы меньше всего хотел обидеть Робина. Какое счастье, что я никогда не оказывался мишенью его гнева – а рисковал я сильно: он был истовым католиком, полным неофитского пыла.

Не то чтобы это имело какое-то отношение к делу, но Робин Лейн Фокс действительно учился в Итоне. Вы можете знать его как автора колонки по садоводству в газете *Financial Times* и книги “Лучшее садоводство”, в которой глава “Лучшие кусты” следует за “Лучшими деревьями”, открываясь этим изумительно анахронистичным и характерным пассажем:

Свешиваясь с веток на уровень лучших кустов, я не откажусь от дней, когда мир был молод и там, где гуляли динозавры, еще росли метасеквойи. Что может быть естественнее среди диме-тродонов и игуанодонов, чем мой собственный вымирающий вид – оксфордский древней-истории-дон? Нас давно считают обреченными исчезнуть, но мы все живем и процветаем.

Он был специалистом с мировым именем по Александру Македонскому и любил верховую езду. Он согласился консультировать Оливера Стоуна на съемках исторического фильма “Александр” при условии, что ему дадут эпизодическую роль предводителя кавалерии. И его условие выполнили. Мне удивительно повезло, что меня окружали такие неординарные и непредсказуемые коллеги, с которыми даже заседания комитетов были нескучными. Я мог бы рассказать еще множество подобных историй о коллегах и друзьях, но воздержусь и ограничусь одной – хотя, зная эту их неординарность, рассказывать надо было бы обо всех.

Я испытываю большую нежность к Новому колледжу и всем друзьям, которых приобрел там за долгие годы. Почти уверен, что сказал бы то же самое, забрось меня судьба в другой колледж – или даже в Кембридж: в этих чудесных заведениях, так похожих друг на друга, собираются ученые из самых разных областей науки, объединенные общими академическими и образовательными ценностями – хочется думать, что эти ценности идут студентам на пользу. Но эксцентричных личностей тут хватает, и колледжи Оксбриджа славятся своей неуправляемостью: в этом убедился не один руководитель, пришедший туда извне, из большого мира. Да, у нас есть свои ученые примадонны – они умны, но не всегда так умны, как им говорит собственное тщеславие. Есть и обратное: ученые, которые настолько лишены тщеславия, что способны со смехом рассказывать о себе за обедом подобные истории:

Мне сегодня позвонили из студенческой газеты: “Доктор \*\*\*, не хотите ли вы прокомментировать тот факт, что один из студентов на вашей лекции сегодня утром так сильно зевал, что вывихнул челюсть?”

Кстати говоря, мне как-то позвонили из той же студенческой газеты, *Cherwell* (произносится “Чаруэлл”, как река в Оксфорде, в честь которой газету назвали), когда проводили опрос донов, чтобы выяснить, насколько мы классные. Студент-репортер прогнал меня по списку вопросов – проверить, что я вообще знаю в жизни, например: “Сколько стоит пачка «Дюрекса»?” А потом: “Сколько стоит бигмак?” На что я наивно ответил: “О, около двух тысяч фунтов, если с цветным экраном”. Он так хохотал, что не мог продолжать интервью и повесил трубку.

В роли заместителя смотрителя Нового колледжа мне пришлось произнести прощальную речь для капеллана Джереми Шихи, который (как было заведено в те времена), уходя на покой, получил бенефиций<sup>10</sup> от Англиканской церкви. Мы оба часто голосовали в спорных вопросах за либеральную сторону, и я отметил нашу с ним политическую близость, кото-

---

<sup>10</sup> Доходная должность или земельный участок, пожалованные за заслуги перед церковью.

рую чувствовал на собраниях колледжа, “ловя его согласный взгляд чрез бездну наших разногласий”. В те времена кухня Нового колледжа часто подавала весьма аппетитное лакомство – влажный плотный черный бисквит, покрытый белым кремом, но в меню он фигурировал под неуместным названием: *Nègre en Chemise*<sup>11</sup>. Преподобный Джереми неоднократно и справедливо возмущался этим, и в качестве прощального подарка я хотел добиться смены названия. Я отправился к главному повару (это было одно из немногих настоящих полномочий заместителя смотрителя) и попросил его подать к ужину это блюдо под новым именем. Тем вечером в своей речи за десертом я об этом рассказал и объяснил, что выбрал новое название в честь капеллана: *Prêtre en Surplice*.<sup>12</sup> Увы, вскоре после его ухода яство стали снова подавать под старым именем, *Nègre en Chemise*, а я к тому времени уже сдал должность заместителя смотрителя и не мог ничего с этим сделать.

К слову сказать, я слышал о похожей загвоздке, возникшей в одном английском доме престарелых. В один прекрасный день в меню появился традиционный английский пудинг – длинный, усеянный изюмом, забрызганный кремом рулет, печенный с почечным салом, под названием “Пятнистый Дик”<sup>13</sup>. Местный инспектор потребовал вычеркнуть его из меню, потому что название было “сексистским”.

Многотрудный пик ораторской карьеры заместителя смотрителя – речь на ежегодном обеде в честь бывших выпускников, куда каждый раз приглашают прошлые выпуски за несколько лет подряд. Возрастной отбор движется вспять, проявляя почтение к старухе с косою и удлиняя шаг по мере того, как “винтаж” уступает место “ветеранам”. Постепенно мы доходим до “старой гвардии”, в которую входят все учившиеся в Новом колледже раньше определенной даты в далеком прошлом. Затем цикл начинается снова, с “молодой гвардии”, покинувшей колледж всего с десяток лет назад. В год, когда я был заместителем смотрителя, цикл как раз дошел до старой гвардии, но их редющие ряды не смогли заполнить весь зал, так что к ним на подмогу призвали свежую кровь, неоперившихся тридцатилетних юнцов. Передо мной встала трудная задача – заинтересовать две группы гостей, разделенных мировой войной, Великой депрессией и примерно пятьюдесятью годами. Сочинять речь было не так-то просто. Я попытался сыграть на противопоставлении “ревущих двадцатых”, в которые учились “старики”, и семидесятых, которые (по крайней мере, по сравнению с моими временами, то есть шестидесятыми) простительно было бы назвать сдержанными. Себя самого я отнес к “обеденному времени жизни” и состряпал что-то о том, как “цветущая старость встречается с хмурой и хилой юностью”<sup>14</sup>: это, кажется, польстило старшим, не слишком разозлив младших, которые в любом случае, скорее всего, так не считали.

В попытке вызвать в “старичках” ностальгию, а в их юных преемниках – недоверчивое изумление, я зачитал отрывки из книги предложений студенческой комнаты отдыха 1920-х годов, которую любезно одолжил мне архивариус колледжа. Недоверие рождалось, скажем, когда обнаруживалось, что в 1920-х ванны стояли в большом общем зале, разгороженном на кабинки, – об этом свидетельствуют несколько записей, в которых говорится, например: “Не будет ли джентльмен, который сегодня утром предпринимал безуспешные попытки пения в пятой ванне слева, любезен воздержаться от подобных попыток в будущем?” Не верилось и в бесцеремонное обращение с прислугой – фирменный знак заносчивого “брайдсхедского поко-

<sup>11</sup> “Негр в рубашке” (франц.).

<sup>12</sup> “Священник в рясе” (франц.).

<sup>13</sup> *Dick* также может означать половой член.

<sup>14</sup> Обыгрываются строки Шекспира из “Страстного паломника” (пер. В. Левика): “Юноша и старец противоположны, / Старость – час печалей, юность – миг усад. / Юноши отважны, старцы осторожны. / Юность – май цветущий, старость – листопад. / Юный полон сил, старый хмур и хил, / Юный черен, старый сед, / Юный бодр и волен, старый вял и болен, / Старость – мрак, а юность – свет”.

ления”, который, разумеется, давно уже не свойственен колледжам Оксфорда (за возможным исключением презренных буллингдонцев<sup>15</sup>):

Как я понимаю, о желании получить к чаю блюдо сэндвичей с огурцом требуется сообщать на кухню до и утра. Это весьма обременительно.

Не соблаговолят ли чистильщик обуви или смотритель ванн соскребать грязь с футбольных бутс (и при необходимости натирать их) в ванной комнате?

Многие жаловались на скрип двери в этой самой комнате отдыха. Хочется надеяться, что представители поколения 1970-х не стали бы ныть, чтобы кто-то этим занялся, а просто капнули бы масла на петли.

Но главным образом я цитировал эту книгу ради щемящей ностальгии по ушедшим временам:

Возможно ли обеспечить в старой ванной комнате новую пару щеток для волос (потверже) и новую расческу?

Позвольте предложить размещать в студенческой комнате отдыха ершики для чистки трубок. Эти предметы кажутся мне намного полезнее зубочисток.

Собравшись сделать сегодня утром телефонный звонок, я с удивлением обнаружил, что телефон-автомат отсутствует. Что могло с ним случиться? Позвольте добавить, в качестве предложения для передачи в нужные инстанции, что, по всей видимости, в его замене острой нужды нет.

Кажется, мою речь приняли неплохо. Кто-то из старой гвардии написал благодарственное письмо смотрителю, где говорилось, что речь напомнила автору его старого наставника лорда Дэвида Сесиля. Видимо, это задумывалось как комплимент, хотя воспоминания об этом гениальном аристократе, которые в своей автобиографии приводит Кингсли Эмис, заставляют насторожиться.

---

<sup>15</sup> Клуб “Буллингдон” – закрытый мужской клуб для студентов Оксфорда, знаменитый тем, что в него вхожи образованные юноши из богатых семей, которые устраивают шумные празднества, иногда переходящие в вандализм. Среди его членов – премьер-министры Дэвид Кэмерон и Борис Джонсон, министры Джордж Осборн и Джереми Хант.

## Легенды джунглей

Среди 115 видов млекопитающих острова Барро-Колорадо в Панамском канале встречается хаотически колеблющаяся популяция *Homo scientificus*, к которой относятся и краткосрочные перелетные посетители, приглашенные на месяц-другой, чтобы пожить с местной популяцией биологов и, паче чаяния, освежить и оживить ее. В 1980 году мне досталась честь быть приглашенным в качестве одной из двух перелетных птиц: второй, к моему восторгу, стал великий Джон Мэйнард Смит.

Лесистый остров Барро-Колорадо расположен в середине озера Гатун, составляющего заметную часть Панамского канала. Там находится всемирно известный центр изучения тропиков под эгидой Смитсоновского института тропических исследований (СИТИ). Экология не перестает задаваться вопросом, отчего в подобных лесах живет такое множество разных биологических видов. Их биологическое разнообразие превосходит все другие экосистемы. Шесть квадратных миль Барро-Колорадо – пожалуй, самый изученный, разобранный на образцы, проанализированный, рассмотренный в бинокли и картированный участок леса в мире (с ним может соревноваться разве что Уайтхемский лес близ Оксфорда). Какая честь – получить приглашение сюда на месяц!

Во время моего визита пригласивший меня Айра Рубинофф, директор бюро/филиала Смитсоновского института тропических исследований в Панаме, находился в творческом отпуске, оставив институт в умелых и добрых руках своего заместителя, моего старого друга Майкла Робинсона. В 1960-х мы с Майком вместе учились в Оксфорде у Нико Тинбергена. Майк был немного старше остальных: он решил отдаться своей страсти к энтомологии и вернулся в университет уже повзрослевшим, имея за плечами юность, которую некоторые (но не я) могли бы счесть растраченной впустую – на агитацию за левых. Британские войска тогда воевали с повстанцами в Малайе, и Майк однажды провел всю ночь, метаясь по улицам Манчестера и размалевывая стену за стеной лозунгами: “Руки прочь от Малайи”, “Руки прочь от Малайи”, “Руки прочь от Малайи”. Настал рассвет, и он предвкушал, как заберется в постель, довольный плодотворно проведенной ночью, так и не попавшись полицейским и преподав Манчестеру хороший урок. С удовлетворенным вздохом он взглянул на последний штрих – и, к своему ужасу, заметил, что на стене написано: “Руки от Малайи”<sup>16</sup>. Ему не понадобилось возвращаться по своим следам и проверять всю предыдущую работу. Внутренний голос обреченно подсказал ему, что та же самая ошибка механически повторялась во всех лозунгах, написанных за ночь, начиная с самого первого.

Защитив в Оксфорде блестящую диссертацию по палочникам, Майк получил предложение работы в СИТИ. Официальный маршрут туда пролегал через Майами. Но Майк некогда был членом коммунистической партии, и в визе для пересадки в Майами американцы ему отказали, хотя он даже не должен был выходить из транзитной зоны аэропорта, а согласованную и утвержденную зарплату в Панаме ему собиралось платить само правительство США. Тупик! Уже не помню, как все разрешилось, но в итоге он как-то добрался до Панамы. Позже, видимо, ему все полностью простили (или, по меньшей мере, официально забыли), потому что он поднялся до поста директора Национального зоопарка в Вашингтоне – одного из самых знаменитых зоопарков мира. Во время моего визита он был на достаточно хорошем счету, чтобы временно исполнять обязанности директора СИТИ, и остался таким же, каким я его помнил: сияющее румяное лицо, маленькая рыжая бородка, и в пару ей – хохолок на макушке (одна девушка в Оксфорде, пытаясь различить его среди других, прошептала мне: “Это тот, с бородкой?”, сопроводив свои слова забавным жестом в сторону макушки).

---

<sup>16</sup> В оригинале: *Hands off Malaya* и *Hands of Malaya*.



Моим проводником по прибытии в Панаму стал еще один старый друг с оксфордских времен – Фриц Фольрат, “человек пауков”. Если Майк Робинсон был просто жизнерадостным, то жизнерадостность Фрица достигала космического масштаба, но он не был стереотипной “душой компании” по праздникам, а скорее душой всей повседневной жизни. Впервые я увидел эти загадочно смеющиеся глаза, когда Фриц прибыл в Оксфорд из Германии трудиться в группе Тинбергена “рабом”-подростком. Его представил блистательный Хуан Делиус, в те времена один из ведущих членов группы, приходившийся Фрицу двоюродным братом. Фриц тут же вписался в общество и потешался над своим ломаным английским даже больше, чем все мы. Спустя годы, при встрече в Панаме, он был совершенно таким же. Его английский стал намного лучше, к тому же он неплохо говорил по-испански. Мы катались по окрестностям города Панамы, останавливаясь рассмотреть ленивцев, медленно спускавшихся с деревьев для еженедельной дефекации. Мы поднялись на пик в Дарьене – к сожалению, не на тот, где (как я бормотал себе под нос) Кортес, догадкой потрясен, вперял в безмерность океана взор<sup>17</sup>. Фриц жил в городе Панаме, а я направлялся в глубь страны, на Барро-Колорадо, но был счастлив увидеться с ним хотя бы на день. Теперь он снова в Оксфорде и по-прежнему мой добрый друг и крупный специалист по паукам, их поведению и беспримерным свойствам их шелковых нитей.

Из города Панамы в Барро-Колорадо добирались (а может, и теперь добираются?) на маленьком грохочущем поезде с деревянными сиденьями без обивки. Он останавливается близ озера Гатун, на полпути через полуостров, на маленькой платформе (слишком маленькой и заброшенной, чтобы называться станцией). Рядом со стоянкой – пристань, каждый поезд встречает лодка с острова. По крайней мере, должна встречать. Как-то раз, в месяц моего пребывания там, Джон и Шейла Мэйнард-Смит отправились на день в город Панаму. Вернулись они поздно, на последнем поезде, и очень обрадовались, увидев, что к пристани с пыhtением двигалась лодка. Затем, к их вкшечему смятению, лодка внезапно развернулась и направилась вспять, к острову. Оказывается, лодочник решил, что вряд ли кто-нибудь придет на последнем поезде, так что ему не стоит утруждаться и проверять. Мэйнард-Смиты кричали и махали, но подлец даже не услышал их за шумом мотора. Телефона там не было, так что пожилой паре пришлось провести ночь на стоянке: укрыться было негде, а спать можно было разве что на досках пристани. Но на следующее утро они повели себя удивительно любезно. Я так и не узнал, выгнали ли того лодочника с работы, а также какой умственный вывих заставил его развернуть лодку, не проверив, ждет ли кто-то на пристани, а еще почему, если он не собирался подходить к пристани, он вообще отправился в путь.

Во время моего первого приезда все прошло по плану и лодка исполнила свой долг. С маленькой пристани на острове ведут крутые ступени к основной территории исследовательского института: скоплению специально построенных домиков и лабораторий с красными крышами. В моей спальне не было излишеств, но она была удобна, и я ничего не имел против крупных приветливых тараканов. В определенные часы в общей столовой двое поваров подавали горячую пищу, исследователи собирались там поесть и поболтать. Когда я был там, их было порядка дюжины, в основном аспиранты и постдоки (постдок – следующий шаг подающего надежды молодого ученого после защиты диссертации), чьи научные интересы простирались от муравьев до пальм. Большинство было из Северной Америки, один – из Индии: индийский биолог Рагавендра Гадагкар особенно интересовал меня, потому что он работал с осами рода *Ropalidia* с примитивной общественной организацией: эти осы, вероятно, могли быть промежуточным звеном на схеме, которую мы с Джейн Брокманн составили для статьи, опубликованной годом ранее в журнале *Behaviour*, где обсуждали возможные эволюционные истоки общественной организации насекомых (подробнее об этом – в следующей главе).

<sup>17</sup> Джон Китс. *При первом прочтении чапменовского Гомера*. Пер. С. Сухарева.

Мне вряд ли показалось: атмосфера в столовой и на территории института была чуть прохладнее, чем я привык ощущать среди ученых за работой. Но она заметно оттаяла за месяц, что я провел там; в какой-то момент я почувствовал, что меня приняли, и осмелился высказаться об этом, в ответ на что мне сообщили, что это общепризнанное свойство места: резиденты привыкли объяснять это тем, что находятся на острове. Не знаю, как увязать эту психологическую закономерность с теорией островной биогеографии (так называется известная книга, авторы которой – давние работники Барро-Колорадо: трагически рано ушедший Роберт Макартур и Эдвард О. Уилсон). Но пробыв на острове месяц, я почувствовал – самую малость, – как от приезда новичков территориальный инстинкт стал просыпаться и во мне. Я постарался сознательно противостоять ему и приложить все усилия, чтобы на праздновании Нового года подружиться с Нэнси Гарвуд, последней, кто приехал перед моим отъездом. Оказалось, что она бывала там и раньше, так что мои усилия были ни к чему, но все же я был рад, что постарался, – надеюсь, она тоже.

Вечеринка запомнилась еще и фейерверками с огромного корабля, проходившего по каналу прямо за деревьями. Впрочем, это воспоминание ошибочно: долгие годы я был абсолютно уверен, что мы встречали не просто Новый год, но и новое десятилетие – 1 января 1980 года. Моя память была полна подробностей; чтобы наконец убедить меня в том, что мои несомненно точные воспоминания неверны, потребовались независимые документальные свидетельства, которые любезно прислали Айра Рубинофф, Рагавендра Гадагкар и Нэнси Гарвуд. То было 1 января 1981 года, а не 1980-го. Это заметно меня встревожило: кто знает, сколько еще у меня “несомненных” воспоминаний о том, чего на самом деле не происходило (предполагаю, что читатель моих мемуаров достаточно предупрежден).

Огромные танкеры, будто призраки, возникающие среди джунглей, – одно из самых ярких моих воспоминаний о тех местах. Несколько раз я присоединялся к компании ученых-резидентов, отправлявшихся поплавать с плота, и в том, как всего лишь в нескольких метрах от нас за деревьями по прозрачной водной глади неспешно и удивительно тихо скользили гигантские суда, было нечто нереальное. Некоторые женщины-ученые любили позагорать, и я не мог не задаваться вопросом, как это представлялось командам танкеров. Моряки из Греции разглядели бы в обнаженных красавицах сирен, немцам вспомнилась бы Лорелея? Или, может быть, сквозь дебри буйной тропической растительности им бы виделась невинность Евы до грехопадения? Им неоткуда было узнать, что тропические нимфы наделены научными степенями ведущих американских университетов.

Я уже упоминал территориальные инстинкты преданных своему делу ученых, в чью островную крепость мне позволили ненадолго вторгнуться, – но не следует преувеличивать. У меня почти всегда была возможность учиться у доброжелательно настроенных специалистов – что в поле, что в столовой. Некоторый изначальный *froideur* независимо от меня отметила Элизабет Ройт в книге “Утренняя ванна тапира”, посвященной ее собственному визиту в Барро-Колорадо. Но позже (как и в моем случае) атмосфера вокруг нее оттаяла, ее постепенно приняли в группу островитян и взяли помогать в исследованиях. Первым, кто отнесся к ней по-дружески, был изумительно эксцентричный Эгберт Ли, ведущий исследователь на острове, и со мной он тоже был приветлив. Его имя уже было мне знакомо по статье о “Парламенте генов”, заставившей меня серьезно задуматься, и я был весьма удивлен, обнаружив этого теоретика-мыслителя посреди лесов Центральной Америки. Но вот он был передо мной, вместе с семьей, единственный, кто жил на острове постоянно, в жилище, получившем название “Лягушачий дом”. Как я выяснил позже, “лягушачий” в устах доктора Ли было высочайшей похвалой. Я так и не понял, что именно он имел в виду – подозреваю, что-то многогранное и тонкое, подобно “спину” в словаре английского математика Г.Х. Харди (одобрительный термин, в этом случае взятый из крикета; Чарльз Сноу в своих теплых воспоминаниях о Харди попытался, но так и не смог растолковать его точное значение). Нас с Эгбертом Ли, как оказалось,

объединяло восхищение Р. Э. Фишером, которое Ли звучно высказывал со своим неповторимым выговором – за этой манерой закрепилось прозвище “синдром хронического растяжения гласных” (но кто его придумал, мне выяснить не удалось).

Теоретическую огневую мощь острова обеспечивал Эгберт Ли, а интеллектуальный арсенал получил массивное подкрепление с прибытием Джона Мэйнарда Смита: он приехал на месяц, через две недели после меня, так что половину срока мне довелось пробыть там с ним вместе. Джон всегда стремился учиться и учить, и я был счастлив бродить по тропинкам в джунглях в его обществе и учиться у него биологии – а также учиться у него тому, *как* учиться у местных специалистов, наших проводников. Я бережно храню память о его замечании про одного юношу, который водил нас по своей исследовательской территории: “Какое наслаждение – слушать человека, который по-настоящему любит своих животных”. В роли животных в этом случае были пальмы, но в этом был весь Джон, и я очень его любил – в том числе и за это. Мне очень его не хватает.

Среди собственно животных, а не их фотосинтезирующих условных заместителей, встречались метко поименованные паукообразные обезьяны, которые могли похвастать удивительной пятой конечностью – хватательным хвостом. Были там и обезьяны-ревуны с укрепленной костями гортанью, чьи волны крещендо и декрещендо можно легко было принять за эскадрилью реактивных истребителей, с ревом проносающуюся сквозь кроны деревьев. Однажды я видел взрослого тапира так близко, что мог разглядеть на его шее клещей, раздувшихся от крови. Вообще было затруднительно провести день, бродя по джунглям, и не набрать собственного груза клещей. Но едва прицепившись, они были еще совсем маленькими, и все мы носили с собой рулон липкой ленты, чтобы их счищать. Кстати, тапиры, кажется, никогда не жили в Африке, так что Стэнли Кубрик допустил легкий ляп, сняв их в роли добычи наших человекообразных предков в начале великолепного фильма “2001 год: космическая одиссея”.

Что касается плодотворной работы – если мне что и удалось сделать за время пребывания в Панаме, так это написать несколько глав книги “Расширенный фенотип”, и разговоры с некоторыми учеными на острове стали хорошим подспорьем. Календарь подсказывает, что я провел на острове Рождество 1980 года, но я ничего о нем не помню, так что, видимо, больших празднеств по этому случаю не устраивали. Помню какую-то вечеринку с кабаре: может быть, она и приходилась на Рождество. В роли ведущего привлекли Рагавендру Гадаг-кара – к некоторому недоумению с его стороны, ведь он тогда только приехал.

Я обнаружил особую привязанность к муравьям-листорезам, с которыми меня познакомил Аллен Херре – как и с жутковатыми муравьями-легионерами, которые однажды ночью вторглись в уборную и, сцепившись конечностями, повисли там гроздьями, словно мерзкие черно-коричневые занавески. Об огромных муравьях-понеринах, *Agaponega*, меня всерьез предупреждал не только Аллен: благодаря мощи своих укусов они стали одними из самых обсуждаемых обитателей джунглей. Мои глаза, а у страха они велики, замечали их очень часто, и я проявлял предельное уважение, держась от них подальше.

Муравьи-листорезы показались мне намного симпатичнее, и я мог, забыв о времени, стоять и смотреть на стремительные зеленые потоки ходячих листьев: десятки тысяч рабочих, каждый со своим зеленым зонтиком наперевес, на марше в темные подземные грибные сады. Меня переполнял простодушный восторг от понимания, что листья они срезают не из личных пристрастий к поеданию зелени, а для того, чтобы удобрить землю и вырастить грибы, которые уже после их смерти пойдут в пищу другим особям из их плодовой колонии. Двигал ли ими некий муравьиный аналог аппетита, который удовлетворялся не набитым желудком, а, скажем, ощущением листа в челюстях или чем-то еще менее прямо связанным с питанием? Я и без Джона Мэйнарда Смита помнил, что естественный отбор благоприятствует “стратегиям”, но не предполагается, что животные, следующие определенным стратегиям, их осознают. Не нам судить, испытывают ли муравьи какие-либо сознательные желания, стремления или голод.

Во мне разлился свет понимания; то же самое я ощутил при встрече с муравьями-легионерами, описанной в моей третьей книге “Слепой часовщик”. Там я рассказывал, как в детстве, в Африке, боялся муравьев-легионеров больше, чем львов или крокодилов. Но, цитируя Э. О. Уилсона, колония муравьев-легионеров – “объект не столько опасный, сколько странный и удивительный, венец иной эволюционной истории, которая так далека от истории млекопитающих, как это только возможно на нашей планете”. И я продолжал:

В Панаме, будучи уже взрослым, я отошел с дороги и наблюдал со стороны за американским вариантом муравьев-кочевников, которых так боялся ребенком. Они текли мимо меня, как сухая похрустывающая река, и я готов подтвердить, что зрелище это в самом деле странное и удивительное. Легионы муравьев, ступавших как по земле, так и друг по другу, все шли и шли, час за часом, а я дожидался царицы. Наконец она приблизилась, и ее присутствие внушало трепет и благоговение. Видна была только движущаяся волна простых смертных, бурлящий пульсирующий шар из сцепившихся конечностями муравьев. Она была где-то в середине этой кучи тел рабочих, вокруг которой теснились многие шеренги солдат с угрожающе раскрытыми челюстями, готовых убить и погибнуть, защищая свою царицу. Простите мне мое любопытство – я проткнул клубок из рабочих особей прутиком в безуспешной попытке добраться до виновницы всех этих предосторожностей. В то же мгновение двадцать солдат вонзили в прутик свои снабженные массивными мышцами челюсти – возможно, чтобы больше никогда не извлечь их обратно, – в то время как десятки других уже карабкались по нему вверх, так что я почел за благо поскорее его бросить. Мне не удалось увидеть ее даже мельком, однако где-то в глубине бурлящего клубка она была – центральная база данных, хранилище оригиналов ДНК всей колонии. Эти оскалившиеся солдаты были готовы погибнуть за царицу не потому, что они очень любили свою мать, и не потому, что она вдолбила им идеалы патриотизма, а просто-напросто потому, что их мозги и их челюсти были созданы генами, отпечатанными на исходной матрице, хранящейся в ее теле. Они отважно сражались, потому что их гены были унаследованы от длинного ряда цариц, жизни – и гены – которых были сохранены благодаря таким же бравым солдатам. Солдаты, напавшие на меня, получили свои гены от своей царицы, точно так же, как и те, прежние солдаты получали гены от своих предковых цариц. Мои солдаты охраняли оригинальные копии тех самых инструкций, что предписывали им заниматься их охраной. Они оберегали мудрость своих предков, Ковчег Завета...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.